

«Русская история» С. Н. Глинки и общественные настроения в России начала XIX в.

Т. А. Володина

Период начала XIX в. до появления в печати «Истории государства российского» Н. М. Карамзина отличается резким взлетом интереса публики к истории. За этот относительно короткий период времени было напечатано более 20 сочинений по русской истории, имевших обобщающий характер, то есть изображавших более или менее длительный период (в идеале — от Рюрика до Александра I) и адресованных не узкому кругу профессионалов, а широкой аудитории¹. Обращает на себя внимание также их более широкая, чем прежде, географическая и издательская представленность. В XVIII в. исторические штудии воспринимались преимущественно как дело казенное, выпускали их главным образом типографии столичных учреждений (Академическая, типография Главного правления училищ), которым это как бы вменялось в обязанность. В начале XIX в. картина разительно меняется: из 25 исторических сочинений лишь 5 отпечатаны в Петербурге, 3 — в Смоленске, Казани и Дерпте, все остальные — в Москве.

Лидерство Москвы окрашено примечательными тонами. В числе авторов — незнакомые имена, никак или почти никак не связанные с исторической наукой. Почему вдруг некоему Афанасию Щекатову или Ефиму Филиповскому приходит в голову составить книгу о русской истории, а какая-то частная типография (Бекетова, Селивановского и др.) берется за ее печатание? Книги по русской истории, адресованные широкой аудитории, находят читателя и, что не менее важно, покупателя.

Что же произошло? Почему вдруг проявился такой повышенный интерес к истории, к тому же исходящий особенно от москвичей? Увлечение историей легко объяснить подъемом патриотизма, вызванного эпохой наполеоновских войн. Но такое объяснение порождает ряд новых вопросов: Какова была специфика такого патриотизма? Как отразился он в исторических сочинениях? О чем свидетельствовали процессы, происходившие в историческом сознании общества? Как изменялись его ценностные ориентации, какие представления и оценки получили наибольшее распространение и почему?

Привычный тезис о росте национального самосознания, патриотическом подъеме в связи с войной 1812 года бесспорен. Однако обладало ли общественное сознание того времени какими-либо специфическими чертами, делавшими его *национальным сознанием*, то есть сознанием нации? Можно ли сблизить его, например, с тем, что чувствовали и думали на Руси в период Батыева нашествия?

В последние десятилетия проблема изучения наций и национализма ознаменована рядом серьезных работ². Всеми признано, что нации и национальное сознание — это относительно недавний продукт человеческой истории; большинство исследователей «находят» нации только в XIX в., лишь некоторые, с оговорками, относят начало формирования

Володина Татьяна Андреевна — кандидат исторических наук, доцент Тульского педагогического университета.

наций к XVII—XVIII векам. Если следовать логике радикального модерниста Э. Геллнера, который видит главные факторы формирования наций в урбанизации, всеобщем образовании и социальной мобильности, то в России начала XIX в. существование национального сознания представляется просто невозможным. Однако часть исследователей (например, Б. Андерсон, Л. Гринфилд) рассматривает появление идеи нации не как прямое следствие социально-экономического развития, а как процесс, хотя и тесно связанный с индустриализмом, однако проникнутый особой, независимой логикой возникновения новых смыслов, идей, образов и систем ценностей. Среди факторов, порождающих этот процесс, выделяется угроза существованию данной культурно-исторической общности или даже миф о подобной угрозе. Ненависть и образ врага пробуждают самопожертвование и любовь, и все, кто переживает подобные ощущения, начинают улавливать свою принадлежность к некоей общности, которая уже не сводится к религиозному, этническому или династическому принципу. Более того, эта рождающаяся новая общность зачастую вступает в противоречие с прежними формами идентичности.

Характерна реакция в России на замыслы Александра I о восстановлении Польши. Восстановлением Польши в границах 1772 года было бы исправлено то преступление, которое, по его мнению, совершила Екатерина II. Александр, российский император, имел бы титул польского короля, а само королевство польское находилось в тесном единении с Россией посредством этой унии через монарха; в начале царствования этот замысел всеми силами поддерживал А. Чарторыйский. Ничего необычного в таком решении не заключалось, ведь был же саксонский курфюрст Август польским королем, а Павел I — великим магистром Мальтийского ордена. С точки зрения внешнеполитических задач этот план выглядел привлекательно: жгучая неприязнь поляков к России поумерилась бы, а Наполеону труднее стало бы разыгрывать в борьбе против России роль освободителя Польши.

Однако Александру I не удалось привести свой замысел в исполнение. При любом намеке на «Польшу в границах 1772 года» он сталкивался с жесткой и неуступчивой позицией своих подданных, которые как будто забывали о своем статусе. В 1805 г. генерал-адъютант П. П. Долгоруков в присутствии императора схлестнулся с Чарторыйским, который в то время занимал пост министра иностранных деп. Отметая все резоны, Долгоруков воскликнул: «Вы рассуждаете как польский князь, а я рассуждаю как русский князь». Еще более жестко отстаивал это мнение Карамзин. В 1819 г. между историографом и императором произошел трудный разговор, после которого историк писал: «Мы пробыли вместе, с глазу на глаз, 5 часов... Но мы душою расстались, кажется, навеки». Предметом долгой беседы было все то же намерение Александра в отношении Польши. Сурово и непреклонно развенчивая благие порывы царя, Карамзин произносил слова, отражавшие некие новые реалии: «Россия — не бездушная собственность, которую можно раздроблять... Я слышу русских и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю; остыли бы душою и к Отечеству, видя оное игрищем самовластного произвола. Не опустел бы, конечно, дворец; Вы и тогда имели бы министров, генералов; но они служили бы не Отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы... А Вы, Государь, гнушаетесь рабством»². Конечно, можно увидеть в этом выступлении Карамзина лишь проявление привычного имперского стиля мышления: все, что завоевано российским мечом, неприкосновенно. Однако слышится уже и новое: мы отвернемся от Вас, Государь!

Дело заключалось не только в Польше. В начале XIX в. в общественном умонастроении многое приобретало национальную окраску. Образованная элита вдруг почувствовала потребность усилить и подчеркнуть свою «русскость». Это намерение шло вразрез со сложившимся во второй половине XVIII в. положением вещей, когда влияние французской культуры в среде российского дворянства постоянно росло и крепло. С. Н. Глинка, один и питомцев Сухопутного шляхетского корпуса, свидетельствовал, что кадеты воспитывались «совершенно на французский лад... Полюбя страстно французский язык, я затеял уверять, будто бы родился во Франции, а не в России»³. Глинка проникся «французским духом» в казенном, государственном учебном заведении; что же говорить о частных пансионах, которые в таком обилии открывались и в столицах и в крупных губернских городах. Основанный в Петербурге отцами-иезуитами пансион воспитывал отпрысков русской знати (Голицыны, Гагарины, Толстые, Шуваловы, Строгановы, Вяземские, Одоевские и др.) совершенно на французский манер, к тому же с сильным привкусом католицизма. Министр народного просвещения граф А. К. Разумовский, может быть, несколько сгущая краски, докладывал императору в начале XIX в.: «Все почти пансионы в империи содержатся иностранцами... они юным россиянам внушают презрение к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему и в недрах России из россиянина образуют иностранца»⁴. То, что так возмущало министра, воспринималось

русской аристократией в конце XVIII в. как норма и было явлением широко распространенным. Екатерининский вельможа, отец П. А. Вяземского, по свидетельству самого сына, изредка переходя на русский язык, пользовался им как иностранным: он думал по-французски.

Получалось, что чем более образованным был человек, тем больше он проникался чужеземной культурой. Какой-нибудь мелкий помещик у себя в захолустье мог свободно «думать по-русски», то есть сохранять весь соответствующий комплекс коммуникативных связей в повседневной жизни. Но аристократия, двор, высшее чиновничество как будто принадлежали к другой породе людей. Даже Карамзин, один из создателей русского литературного языка, был пропитан этой атмосферой и в 1790 г. писал из Парижа: «Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских»⁵. Начиная свой журнал, Карамзин дал ему имя «Вестник Европы», ставя целью знакомить читателей с европейской культурой, историей и политикой.

Склонность к галломании в конце XVIII в. отдавала политическим либерализмом. Если для стариков екатерининского времени Франция ассоциировалась с едким вольнодумством Вольтера, то для юного поколения — с революцией, республикой и первым консулом как выразителем республиканских свобод. Как писал тот же Глинка о годах своей юности: «За отплытием Наполеона к берегам Египта мы следили, как за подвигами нового Кесаря; мы думали его славой; его славой расцветала для нас новая жизнь. Верх желаний наших было тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. Но не одни мы так думали и не одни к этому стремились. Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом»⁶. Иногда доходило до смешного. Вскоре после восшествия Александра I на престол в Петербург прибыл представитель Франции генерал М.-Ж. Дюрок, адъютант Наполеона, посланный, чтобы приветствовать нового императора и заодно разведать, чего от него можно ожидать. Юный Александр с радостью приветствовал французов, в которых видел прежде всего любезных его сердцу республиканцев. Обращаясь к посланцам Бонапарта, он подчеркнуто употреблял слово «citoyen» (гражданин); Дюрок в ответ кисло морщился и наконец объяснил, что во Франции уже не принято именоваться «гражданами».

На этом фоне либерализма и галломании особенно заметен поворот в историческом сознании и умонастроении общества, происходивший в 1800-е годы. Его можно сравнить с тем знаменитым эпизодом в «Войне и мире», когда Наташа Ростова, «графинечка, воспитанная эмигранткой-французенкой», пустилась в русскую пляску и «умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке». Л. Н. Толстой недаром сделал этот эпизод одним из ключевых в своем романе, символизировавшим реалии русской жизни, заявившие о себе задолго до 1812 года. Наметились и четко обозначились дрейф людей с различными общественно-политическими, литературными, эстетическими склонностями — к некоему идеальному центру притяжения. Тонкий наблюдатель Ф. Ф. Вигель писал об этом времени: «По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника нашего была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, теснились... вокруг невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово — Отечество»⁷.

Бредившие революционным французским духом юноши разочаровывались в нем, тем более что слово «гражданин» уже было не ко двору во Франции; те, кто воспринимали первого консула как наследника традиций гордого Рима, отворачивались, видя его безмерное властолюбие; брюзжащие старцы-консерваторы взахлеб начинали говорить об иностранной заразе и утверждении национального духа. Внутренние взоры людей 1800-х годов устремлялись к единому полюсу, их голоса начинали звучать в унисон. Тот, кто не чувствовал этого сдвига, отторгался и выдавливался обществом, — красноречива судьба М. М. Сперанского. Появление этого единого полюса притяжения очевидно, если сравнить эволюцию таких разных людей, как, например, А. С. Шишков и Г. Р. Державин, Карамзин и Сергей Глинка.

Адмирал Шишков, для которого даже Карамзин был исчадием французской философии, играл в то время роль своеобразного рупора воинствующего национализма, отстаивая «русскость» во всем: в языке и литературе, в мировоззрении и воспитании. Заметим, что «Беседа любителей русского слова», где заправлял Шишков, возникла в 1810 г., а едкие сатиры молодого арзамасского поколения начали появляться лишь с 1815 года. Именно

тогда А. Ф. Воейков в своей сатире «Дом сумасшедших» вложил в уста Шишкова следующие сентенции: «Славяне — он сказал — не читывали встарь // По многу толстых книг: к чему оно? Букварь, // Стоглав с грамматикой, прочесть Максима Грека, // Вот все, что надобно для счастья человека»⁹.

Юноши начинали смеяться над напыщенным «славянофильством» «Беседы», но это стало возможным после Ватерлоо. Смеяться над Шишковым после Тильзита было невозможно, и на вечера «Беседы» в 1810 г. считали своим долгом являться генералы при звездах и лентах, дамы в блестящих нарядах, придворные. Они мало что понимали в долгих и скучных речах, но были исполнены уверенности, что совершают патриотический подвиг, способствуя торжеству русского языка. Недаром после падения Сперанского, когда нужно было найти человека, способного составлять рескрипты, манифесты и указы, выбор Александра I пал на Шишкова. Именно он готовил все знаменитые манифесты 1812—1814 годов. Пафос грубоватого адмирала был созвучен общественным настроениям. «В Москве и других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, — вспоминал С. Т. Аксаков, — все были обрадованы назначением Шишкова, и писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь»¹⁰.

Антагонизм к Европе и особенно к Франции стал еще более усиливаться в русском обществе в связи с первыми военными неудачами. Аустерлиц, Фридланд и Тильзит — вот вежи, которыми отмечено становление национального самосознания. Ненависть к императору французов и ко всему французскому все шире разливается в обществе, превращая в консерваторов и националистов многих поклонников философских принципов Просвещения. В русском обществе чувствуется громадное сопротивление всему, о чем договорились Александр с Наполеоном на плоту посреди Немана. С. Р. Воронцов, русский посол в Англии, в письмах предлагает сановникам, подписавшим Тильзитский мир, въехать в столицу на ослух¹¹. Сергей Глинка начинает издавать в 1808 г. свой «Русский вестник», сделав проповедь «русскости» главной задачей журнала. В 1807 г. выходит в свет книга Ф. В. Ростопчина «Мысли вслух на Красном крыльце ефремовского помещика, Силы Андреевича Богатырева». В нарочито простонародном, даже прибауточном стиле Ростопчин метал молнии против Европы и потери русскими своего национального лица. Герой его памфлета, истый русак Богатырев, выражал пожелание, чтобы дубинкой Петра Великого, взятой на недельку из кунсткамеры, выбили дурь из русской молодежи. В особенную ярость приходил Богатырев при имени французского императора: «Что за Александр Македонский! Мужичишка в рекруты не годится!.. Ни кожи, ни рожи, ни видения, раз ударишь, так след простынет и дух вон»¹². Рука об руку с поношением Европы шло восхваление предков, их побед и добродетелей, доблестей старой Руси. Сам Ростопчин с гордостью называл себя «лекарем, снимающим катаракты». В другое время Ростопчин со своим Силой Андреевичем мог бы показаться смешным, так много было у него грубых натяжек и мнимо-простонародного тона. В другое время — да, но не в 1807 году. Книжка его разошлась в количестве 7 тыс. экземпляров, снискав Ростопчину громкую известность как выразителю голоса старой Москвы с ее особенным патриотизмом и оппозиционностью.

Под влиянием изменений в национальном сознании русское общество позволило себе нетрадиционную реакцию на «гром победы». После успешной войны против Швеции Россия по Фридрихсгамскому миру получила Финляндию. Все предыдущее столетие, когда случались победы над противником (турками, шведами, поляками) и происходило присоединение новых территорий, начиналось «веселье славных россос». Поражения еще могли разъединять, победы всегда объединяли. Однако в 1809 г. эта привычная схема дала сбой. «В первый раз, может быть, с тех пор, как Россия существует, наступательная война против старинных ее врагов была всеми русскими громко осуждаема, и успехи наших войск почитаемы бесславию», — отметил Вигель. Здесь много чего смешалось: и то, что по условиям Тильзитского мира России как бы «позволили» взять Финляндию; и то, что шведский король Густав IV продолжал проявлять неуступчивость по отношению к Наполеону; и то, что Александр I в этих условиях выглядел как подручный Наполеона, который, служа сюзерену, попутно не забывает и о своих интересах. Так что не следует удивляться мнению публики, когда выстрелы с Петропавловской крепости возвестили о заключении мира: «Все спрашивали друг у друга, в чем состоят условия. Неужели большая часть Финляндии отходит к России? Нет, вся Финляндия присоединяется к ней. Неужели по Торнео? Даже и Торнео с частью Лалландии. Неужели и Аландские острова? И Аландские острова. О, Боже мой! О, бедная Швеция!.. Вот что было слышно со всех сторон»¹³.

Возникает вопрос, насколько широко были распространены эти национальные настроения, очень тесно спаянные с оппозиционными именно в силу того, что правительство и сам

император казались недостаточно «национальными». Когда Вигель или Аксаков в своих воспоминаниях пишут «все говорили, все думали», — подразумевается ли под этими «всеми» лишь образованная часть русского общества, дворянство и чиновничество, или политическая элита уже стремится приобщить к своим представлениям более широкие круги общества? В целом нельзя сказать, что до появления французов в пределах России простонародье осмысливало и переживало ситуацию столь же остро, как дворянство, хотя правительство в 1805—1807 гг. силилось привить народному сознанию патриотизм. В провинцию рассылались указы и постановления Синода, священникам предписывалось всячески проводить мысль, что Бонапарт — враг, антихрист и разрушитель всего святого. Эта мысль в крестьянских головах засела крепко, и переварить Тильзит им было не так-то легко: ведь тот, кто вчера был антихристом, сегодня торжественно именовался императором французов, союзником и почти другом. Если сознание образованного русского общества реагировало на эту подмену обостренной «русскостью» и оппозиционностью, то простонародье в своем сознании искало другого разрешения противоречий. П. А. Вяземский записал следующее объяснение, представленное в виде разговора двух мужиков: «Как же это (говорит один) наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристом? Ведь это страшный грех! — Да как же ты, братец (отвечает другой), не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартя в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые царские очи»¹⁴. В данном случае мы видим как раз пример династической и религиозной идентичности: действия императора вводятся в привычную систему координат (государь и православие) и сразу находят поддержку и объяснение.

Образованная элита должна была чувствовать и осознавать необходимость передачи своих представлений о национальном духе возможно более широкой аудитории. Ф. В. Ростопчин в своих сочинениях стремился подделываться под простонародный язык, а в знаменитых афишах 1812 г. довел эту практику до совершенства. «Русский вестник» Глинки также старался апеллировать к людям разного звания. Когда М. Т. Каченовский обвинил Глинку в том, что он пишет «для двуперстного сложения и мучных лавок», издатель несколько не оскорбился. Более того, Глинка воспринял эти упреки как похвалу: «В последнем (слова Каченовского о «простонародности». — Т. В.) я согласен. Я желал породнить «Русский вестник» с народной мыслью»¹⁵.

Анализ исторических сочинений, написанных в этот период и адресованных широкой публике, позволяет проследить сложные и трудноуловимые процессы развития исторического сознания. В этом отношении фигура Сергея Николаевича Глинки (1775—1847), автора популярной «Русской истории в пользу семейного воспитания», которая за короткое время выдержала четыре издания, представляет серьезный интерес.

На седьмом году жизни сын небогатого дворянина Сергей Глинка был записан в Сухопутный шляхетский корпус и провел там тринадцать лет. Заложенные еще И. И. Бецким, директором корпуса в 1766—1773 гг., принципы «выведения новой породы людей» расцвели и окрепли при его преемнике Ф. Е. Ангальте. Некоторые из современников вспоминали о «методе» Ангальта со слезами признательности (Глинка принадлежал именно к числу апологетов), другие считали, что корпус калечил своих питомцев. Однако все признавали, что корпус являлся подобием нравственной оранжереи, где в кадетах, отрезанных на многие годы от реальной действительности, всеми силами развивали чувствительность, романтические устремления, простодушие и сентиментальность. Воспитанники привыкли жить в некоем идеальном государстве, как бы в большой семье, но по выходе из корпуса им приходилось искать компромисс между усвоенными принципами и неидеальной действительностью.

Многие кадеты уже в корпусе приобретали вкус к занятиям литературой, театром, историей. Таким был и Глинка; М. И. Кутузов, выслушав его речь на торжественном акте, промолвил: «Недолго наслужит солдатом». Так и произошло. Выпущенный из корпуса в 1795 г., он стал адъютантом у князя Ю. В. Долгорукова в Москве. Однако военная служба не поглощает его. Глинка начинает писать для театра, публикует свои первые литературные опыты в журналах; его влечет к истории. В его «Записках» содержится любопытный эпизод, показывающий, как возникало иногда подобное влечение. Однажды в 1797 г. Глинка заступил на обычное дежурство начальником караула по гауптвахте. Чтобы время не пропало даром, он захватил с собою на дежурство книги — два тома примечаний И. Н. Болтина на сочинение Н. Г. Леклерка. Арестант, который содержался на гауптвахте, жадными глазами влился в книги и признался, что давно хочет их изучить. Глинка, увидев такую страсть к истории, почувствовал родственную душу и отдал ему на время оба тома. Этим арестантом

был Каченовский, тогда еще никому не известный казачий урядник. Оба были самоучками-дилетантами, но штудировали далеко не развлекательные сочинения Болтина.

Уже в 1800 г. Глинка в чине майора вышел в отставку. Родители его умерли, все наследство составило 30 душ, да и от этой мизерной доли Глинка отказался в пользу сестры. Молодому человеку приходилось думать о хлебе насущном, и он поступил в домашние учителя к богатому украинскому помещику. Поступок нетривиальный: питомец корпуса, дворянин и офицер, завсегда театров — и вдруг учитель в степной глуши, но зато получал он 1500 рублей в год. Трехлетний учительский опыт тоже подготавливал его к написанию в будущем популярного сочинения по русской истории. Он вдруг понял, что знания его несистематичны и что он понятия не имеет, чему и как учить: «Для того необходимы готовые средства, то есть общие и первоначальные книги, изложенные кратко и ясно»¹⁴. Он завел себе огромные тетради и вносил в них все материалы к своим занятиям — по словесности, политике и истории.

Вернувшись в Москву после длительного отсутствия, Глинка полностью сосредоточился на литературной и театральной деятельности. Чем он отличался от большинства тогдашних писателей из дворян, так это тем, что пером ему приходилось зарабатывать на жизнь. Один из критиков подсчитал позже, что Глинка написал в общей сложности более 150 томов, а Вяземский назвал его «плодовитейшим из русских писателей»¹⁵. Глинка берется за любые переводы, пишет драмы и трагедии, либретто опер. Привлекают его сюжеты, где история и драма сплавляются в единое целое. В числе его пьес на московской сцене ставили: «Боян», «Наталья, боярская дочь», «Сумбека, или падение Казанского царства», «Минин», «Михаил Черниговский», «Осада Полтавы». Чтение примечаний Болтина на Леклерка, казалось бы, свидетельствовало об интересе Глинки к науке, но в подобных сочинениях ему был нужен лишь материал для собственных построений. Рациональная истина, основанная на фактах и источниках, стесняла его, в своих драмах Глинка легко уходил от «неудобных» фактов. В 1806 г. в доме М. Н. Муравьева он прочел свою трагедию «Михаил Черниговский» о событиях времен монгольского нашествия. Гости были в восторге, хозяин рыдал от восхищения¹⁶. Развязка пьесы могла поразить неожиданностью: Батый погибал в битве с черниговским князем.

Споры у людей, причастных в начале XIX в. к истории и литературе, вызывал вопрос, в какой степени должны быть исторически достоверны события и лица в произведениях на историческую тему. Много размышлял о соотношении истории и литературы Карамзин, выступивший в 1798 г. в печати с повестью «Наталья, боярская дочь» и в 1803 г. с исторической повестью «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода». В 1802 г., давая характеристику творчеству А. П. Сумарокова, он формулирует требование «соображать свойства, дела и язык героев с характером времени». «Вестник Европы», редактором которого уже был Каченовский, тогда же подверг критике трагедию П. А. Плавильщикова «Ермак»: автор, мол, представил не эпоху завоевания Сибири, а чудесные выдумки¹⁷. За историческую достоверность выступали не только карамзинисты, но и литературные консерваторы. Шишков и Державин были возмущены несуразностями, искажением событий, характеров, старинных нравов в трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской»¹⁸. Патриарх русской сцены И. А. Дмитриевский отвечал Державину: «Можно было бы сказать и много кой-чего... да обстоятельства не те, чтобы критиковать такую патристическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех»¹⁹. Успех трагедии Озерова вполне объясним: она появилась в 1807 г., когда публика в далеком прошлом, представляемом на сцене, видела параллели с современностью.

Глинка и сам принадлежал к числу «публики», его историческое сознание требовало каким-то образом компенсировать унижение Аустерлица, и, выбирая между исторической достоверностью и исторической «справедливостью», он явно отдаст предпочтение последней. Конечно, он знает, что реальный исторический Батый долгие годы благополучно властвовал над Русью из Сарая, но «правильнее» было бы, если б он погиб от руки русского князя. И Батый погибает!

Был подписан Тильзитский мир, общество захлестнули чувства унижения и обиды. Потребность в духовной компенсации, во «врачевании» ощущалась остро, и Глинка с готовностью возложил на свои плечи обязанности «врачевателя» — он начал выпускать журнал «Русский вестник» (1808 г.). Программными были строки Державина, взятые в качестве эпиграфа к журналу:

Мила нам добра весть о нашей стороне,
Отечества и дым нам сладок и приятен.

В советской историографии «Русский вестник» оценивался не слишком высоко, как журнал казенно-патриотический и консервативный. Глинке ставились в вину квасной патристизм, искренний монархизм и воинствующий национализм. Отчасти все это имеет основание, но вот эпитет казенный здесь вряд ли применим: официально Петербургу журнал был даже неудобен. При этом «Русский вестник» имел громадную популярность и большое количество подписчиков. Существует множество свидетельств восторженного отношения современников к журналу и глубокой признательности к его издателю. М. П. Погодин уже в 40-е годы, узнав, что Глинка интересуется «Москвитянином», прислал ему подписной билет и написал: «Ваш „Русский вестник“ 1808 года с портретами царя Алексея Михайловича, Дмитрия Донского и Зотова возбудил во мне первое чувство любви к Отечеству, русское чувство, и я благодарен вам во веки веков»²⁰. А ведь Мише Погодину, когда он зачитывался «Русским вестником», было 8 лет, и его отец писал Глинке: «С каким-то особенным К. Ф. Калайдович был уже юношей, но и он позже писал Глинке: «С каким-то особенным чувством, для меня еще в то время непонятным, читал Ваш „Русский вестник“: я тогда учился исторической критике у великого Шлецера в его „Несторе“, а у Вас — святой любви к отечеству»²¹.

Вяземский, человек острого ума и тонкого вкуса, видел «перехлест» в позиции Глинки и отдавал себе отчет в его слабостях, недаром в его «Записных книжках» мы находим колоритную сцену — Глинка, стоя, гонимый на дрожках по Москве накануне ее сдачи Наполеону и кричит: «Бросьте французские вина и пейте народную сивуху. Она лучше поможет вам!» Но и Вяземский был согласен, что Глинка в свое время выполнял важнейшую задачу — знакомить русских с Россией... тогда Россия еще не была отыскана: История Карамзина не была обнародована. К стыду и к сожалению должно нам признаться, что мы все очень худо знали отечество свое и его историю. Любовь к отечеству была у нас, так сказать, отвлеченная и умозрительная»²².

Первые годы издания «Русского вестника» были для Глинки временем наивысшего успеха, когда он ощущал, что выполняет миссию огромной важности. Весь комплекс журнальных статей составляет как бы единое целое. Попробуем выделить основные элементы этого целого, принимая во внимание, что «Русская история» Глинки фактически выросла из «Русского вестника».

Журнал обличал те черты русского общества, которые Глинка считал причинами провалов России. Главную трагедию и опасность Глинка видел в том, что «в недрах отечества возникло общество людей, от всех прочих сословий отличенное одеждою, нравами, обычаями, и которое как будто бы составило в России область иноплеменную. Кто суть члены этого общества? Большая часть помещиков и богатых людей». Глинка развенчивает, высмеивает, обличает эту оторванность дворянства от «почвы»: роскошь моды, иноземное воспитание, заемные убеждения. Но одновременно ему необходимо представить положительный идеал, к которому обществу следует стремиться, и доказать реальность, достижимость этого идеала. Именно поэтому на страницах журнала огромное место занимают русская история, русская старина и добродетели предков. Знание истории Глинка ставит неперменной обязанностью каждого человека: «В наше время страсть к политическим известиям сделалась почти общею страстью. Но можно ли заключать без знания Истории не только о важных, но и о мелочных обстоятельствах? Прошедшее учит судить о настоящем и угадывать будущее. И так для чтения политических известий необходимо надобно иметь хотя поверхностное понятие об Истории». В этом нет ничего необычного, об истории как кладезе полезного опыта рассуждали все деятели, затронутые рационалистическим духом Просвещения. Но Глинка отличается тем, что на первое место по значимости всегда ставит отечественную историю. Вспомним, Карамзин во введении к «Истории государства российского» доказывал, что русская история не менее интересна, чем история греков или римлян. Для издателя «Русского вестника» этого мало, он убежден, что для русского она гораздо интереснее и нужнее. Каждая страна, по мнению Глинки, имеет свои, отличные от других, нравы, обычаи, правительства, поэтому русский найдет то, что сделает его счастливым, именно в своих отечественных летописях²³.

Вот она — главная задача русской истории в глазах Глинки. Русский, узнавая свою историю, должен ощущать, как в нем растет чувство благоговения и гордости от осознания своей принадлежности к этому народу; размышления об историческом пути России должны приводить к тому, чтобы в горле у него появлялся комочек, а на глаза наворачивались слезы. Эти чувства Глинка и называет национальным духом, которого недостает русскому обществу.

Описанию русской истории и добродетелей предков в «Русском вестнике» были

посвящены сотни страниц. Перед читателем разворачивалась галерея исторических лиц, перед его взором проходили описания различных эпох и событий. Русская история в журнале Глинка действительно представляла такую, что будила счастливую гордость за отечество. Предки выглядели скромными, умеренными и благородными, храбрыми на поле брани и великодушными к побежденным, мудрыми и исполненными достоинства. Глинка уверен, что только русский в состоянии проникнуть в *коренные начала* русского национального духа, не столько понять русскую историю головой, сколько прочувствовать ее сердцем. Именно поэтому он, даже признавая некоторые научные достоинства тех или иных иностранных исторических сочинений, всегда стремится оспорить мнение иностранного историка и вообще любого иностранца²⁴, если только иностранец не отзывается о России с похвалой. Глинка по любому поводу подчеркивает преимущества России перед другими государствами. Эта пристрастность приводила его к наивным до комизма утверждениям. Установления Кормчей Книги он сравнивал с идеями Ш. Монтескье и Ф. Р. Шатобриана и приходил к выводу, что русские средневековые узаконения во многом опередили французских мыслителей. Рассказывая о юности Петра I, он утверждал, что дьяк Никита Зотов, воспитатель царя, своими педагогическими воззрениями предвосхитил идеи Ж. Ж. Руссо и Дж. Локка.

Воинственный дух Глинка и подчеркнутое русофильство его «Русского вестника» были неудобны для официального Петербурга: получалось, что какой-то московский журналист, частное лицо, не спросившись императора и правительства, рискнул перехватить знамя патриотизма и раздувает искры национального духа, выступая живым укором тем, кому это знамя полагалось вздымать «по должности». К тому же терпели ущерб дипломатические хитросплетения российской внешней политики после Тильзита: Наполеон выразил неудовольствие антифранцузской линией журнала, и Александру приходилось выслушивать укоры от французского посланника А. Коленкура²⁵.

Но пробил звездный час — наступил двенадцатый год! Можно без преувеличений сказать, что это было самое яркое и насыщенное время в жизни Глинка. То, чего он так долго добивался, произошло: нация слилась в едином порыве, и он сам приложил к этому руку. Глинка мечется по Москве: он после воззвания императора, в 5 часов утра, врывается к Ростопчину и первым записывается в московское ополчение, он произносит зажигательные речи в Дворянском собрании, на свои деньги снаряжает 20 ополченцев. И наконец происходит главное: рескриптом от 18 июля император награждает Глинку орденом Владимира 4-й степени «за любовь к Отечеству, доказанную сочинениями и деяниями». Ростопчин ему объявил: «Священным именем Государя Императора развязываю вам язык на все полезное для Отечества, а руки на триста тысяч рублей экстраординарной суммы»²⁶. Глинка не подвел, он развил бешеную деятельность. Книжки «Русского вестника» за август, сентябрь и октябрь были выданы читателям уже в августе, до оставления Москвы. Сразу же после отступления французов из Москвы печатание журнала было возобновлено.

Теперь на страницах журнала разворачивалась современность, на глазах становившаяся историей. Яркие картины и описания сражений, подвиги генералов и солдат, героизм простого народа — все это выкристаллизовывается в некий символический образ. Вот М. И. Платов привел 20 полков ветеранов-донцов, за плечами которых уже по 40 лет службы. Вот Д. С. Дохтуров в сражении под Малоярославцем провозглашает: «Наполеон хочет пробиться, но не пройдет, а если пройдет, то через труп мой».

Вот генерал Н. Н. Раевский, встав во главе атакующих со своими сыновьями, произносит: «Я и дети мои откроют вам путь». Вот А. И. Остерман-Толстой отдает приказ своим солдатам: «Стоять и умирать!» Глинка целенаправленно создает на страницах своего журнала прекрасный патриотический миф, историю, которая действительно «делала русских счастливыми».

Мог ли Глинка при этом переступать через факты или даже искажать их? Не только мог, но и делал это. Усомниться в этом не позволяет ни его настроение, ни мировосприятие, да и время для рождения патриотического мифа было как нельзя более подходящим. Созданный в Петербурге осенью 1812 г. журнал «Сын Отечества», у руководства которым стояли люди гораздо более трезвые, нежели Глинка, — и тот не всегда считался с фактами, преследуя главную цель — помещать все, что может ободрить дух народа. М. А. Дмитриев в своих неопубликованных мемуарах сообщал о том, как А. И. Тургенев, А. Ф. Воейков и Н. И. Греч «выдумывали» и печатали в журнале патриотические анекдоты о крестьянине, отрубившем себе руку, на которой французы поставили свое клеймо (русский Сцевола), о старостихе Василисе, взявшей в плен французов, и т. п.²⁷

Сотворение мифа, разумеется, нельзя оценивать в узко рационалистических рамках исторической достоверности: люди выдумали старостиху Василису — значит, это ложь. Коллективное историческое сознание и факты прошлого находятся в более сложной взаимосвязи: людям, пережившим события двенадцатого года, требовалось увидеть их и себя именно под таким углом зрения. В любой стране в таких условиях причудливо переплетаются история и предания, рождающаяся легенда исключительно устойчива; а красотой, выразительностью и колоритностью превосходит любой научный анализ. Усилиями своих лучших умов нация создавала свой образ, внедряемый в массовое сознание; крестьянин, отрубавший себе руку, тиражировался в стихах и гравюрах, в лубочных картинках и украшениях на тарелках и становился реальностью исторического сознания.

Однако вести с полей боев в 1815 г. иссякли, русская армия триумфально вступила в Париж, и Глинка решает в стройном и целостном виде представить русскому обществу то, что фрагментарно уже так или иначе получало освещение на страницах его журнала, а именно — напечатать свою Русскую Историю. В 1816 г. это сочинение появлялось частями в «Русском вестнике», а в 1817 г. вышло отдельное издание. Чтобы поместить в «Московских ведомостях» объявление о выходе книги, следовало получить разрешение полицмейстерского начальства. В воспоминаниях Глинка изобразил сцену: «Иду в полицию, представляю мою рукопись и слышу: «Нельзя пропустить». — «Почему?» — спрашиваю. «Карамзину поручено писать историю». — «Да разве есть особенное предписание, чтобы кроме нашего историографа никто не занимался отечественной историей?» — «Нет, однако ж вашей истории не пропустим». Не пускаясь в рассуждения, я взял перо и написал: «В пользу воспитания». — «Вот это другое дело», — отвечали мне, — ваша история для детей»²⁸.

Очевидно: Глинка изначально не предполагал, что его история будет предназначена исключительно для юношества. Автор скорее адресовал ее широким кругам читающей, но не искушенной в научных сочинениях публики. Чтение его истории делалось увлекательным благодаря склонности Глинка к драматизации — опыт сочинений для сцены не прошел для него даром.

Глинка стремился оживить повествование, вкладывая в уста исторических деятелей вымышленные речи. «Вы видели, сколь пагубно правление, зависящее от произвола и прихотей народа, — обращается к славянам Гостомысл. — Вам нужно правление наследственное, вам нужны князья, уполномоченные спасительной властью... У русских княжат три брата, сыны средней моей дщери, но не родство с ними, а польза славян побуждает меня говорить о моих внуках»²⁹. Сколько ни повторял Глинка общие слова о необходимости изображать «подлинный дух времени», но принцип историзма оставался ему совершенно чужд. Этакого Гостомысла легко представить в сюртуке, произносящим речь на торжественном университетском акте, но никак не в условиях IX века. Однако этого мало: он драматически изображает даже размышления. Например, князь Яков Шаховской, получив после прихода к власти Елизаветы приказ арестовать Миниха, отправляется выполнять распоряжение и по пути думает: «Увы! Вот убедительное зрелище, научающее, чтобы никогда не полагаться на счастье и на расчеты ума. Герой теперь преступник, осужденный к ссылке». «...с сими словами Шаховской отворил дверь Миниховой казармы»³⁰. Это уже готовая театральная мизансцена. И какой юноша, получи он на выбор тяжеловесного Татищева или яркие описания Глинка, не склонился бы на сторону последнего.

Тот «русский дух», которым была проникнута вся деятельность Глинка, в полной мере отразился в его Истории. К числу сторонников норманнской теории Глинка никак не мог принадлежать. И действительно, он гладко объясняет, что руссы были одним из славянских племен, переселились за Ладожское озеро, соседствовали с варягами и немного «оваряжились», но не переняли грабительские нравы последних. Отсюда-то, из варяго-русов, принадлежавших к славянскому корню, и был призван Рюрик³¹. На первый взгляд создается впечатление, что в его труде находится место и для мнений В. Н. Татищева, Г. Х. Байера, И. Н. Болтина и М. М. Щербатова; приведены свидетельства из летописей и хроник. Однако то, что противоречило бы его мнению, он объявляет темным и неясным, а то, что подкрепляет «славянскую версию», представляет как незыблемую истину. Точно так же, в русле патриотической версии, он решает все привычные вопросы догосударственного периода: этимологию «славян» он производит от славы, Киев — от славянского князя Кия, и расцвет славянских земель относит ко времени за несколько веков до Рюрика.

Сомнения насчет варягов ему не были чужды, но вся его сущность восставала против открытого их признания. В воспоминаниях он оставил любопытное и поражающее своей искренней наивностью признание: «Не знаю, почему мне не хотелось приурочить начало

разованная по времени и обществу (даже крепостные отзывались о ней как о доброй женщине), за обедом у графини, не краснея, позволила себе сказать в разговоре о прошедшей кампании: «Вообразите, какое счастье Ивану Васильевичу: он отдавал в ополчение девять человек, а возвратился всего один, так что он получил восемь рекрутских квитанций и все продал по три тысячи, а я отдавала двадцать шесть человек, и, на мою беду, все возвратились — такое несчастье!» При этих словах ни на одном лице не показалось даже признака неудовольствия против говорившей. Все согласилось, а некоторые даже прибавили: «Да, такое счастье, какое Бог дает Ивану Васильевичу, немногим дается»⁴¹. Подобные веяния подвергали жестокому испытанию приверженность принципу национального единения в качестве коренного исторического начала России.

Но было и другое. После победных салютов у юного поколения просыпалась потребность критически переосмыслить настоящее и прошлое. В обществе рождались настроения, которые привели к оформлению декабристской идеологии. Для тех, кто был затронут этими критическими веяниями, восторженные фанфары Глинки должны были казаться фанфаронством. Именно в это время, после победы над Наполеоном, появился злой и желчный памфлет Воейкова «Дом сумасшедших». Воейков был человеком противоречивым, вольтерьянцем с налетом цинизма, комфортно чувствовавшим себя в омуте журнальной войны; его «Дом сумасшедших» широко разошелся в рукописных списках. Глинка здесь удостоился злых и едких строк⁴²: «Нумер третий: на лежанке // Истый Глинка восседит; // Перед ним „Дух русский“ в склянке // Не закупорен стоит. // „Книга Кормчая“ отверста // И уста отворены, // Сложены десной два перста, // Очи вверх устремлены. // О Расин, откуда слава? // Я тебя, дружок, поймал: // Из российского „Стоглава“ // Ты „Гофوليو“ украл! // Чувств возвышенных сиянье, // Выражений красота // „В Андромахе“ — подражанье // „Погребению кота“!»

Более изящно, но не менее зло высмеял Глинку К. Н. Батюшков в своем «Видении на берегах Леты». Вскоре подключились и журналы. Если раньше писали, что «всякому отцу семейства надлежало бы иметь ее (Историю Глинки. — Т. В.) для чтения своим детям», то теперь приговор был суров. Первым в «Московском телеграфе» выступил Н. А. Полевой. Явно метя в «Русский вестник», он пренебрежительно отзывался об издателях, старающихся ориентироваться исключительно на все отечественное: «У нас, едва начавших учиться и писать, возможно ли это?.. Нам необходимо не одно русское, но все, что заслуживает внимания и в отечественной и в иностранной литературе, что необходимо знать должно европейскому человеку». В этом же номере журнала, обращаясь к разбору исторических сочинений, Полевой писал о «Русской истории» Глинки, печатавшейся в это время четвертым изданием: «Сочинитель ее не исправил самых явных несообразностей, говорит не шутя такие вещи, о которых никто уже и не спорит — и если он назначает свою историю для детей, можно посоветовать родителям и наставникам отметить при чтении все, что может внушить детям понятия неправильные; а без того не давать им *Истории Русской* С. Н. Глинки»⁴³.

Из Петербурга Полевому вторил Воейков: «Многолетняя история г. Глинки заставляет звать самых пламенных патриотов при рассказе о подвигах Минина, Пожарского и других великих россиян... Издатель „Русского вестника“ в совершенстве овладел искусством переводить читателя от скуки к зеванию, от зевания к дремоте, и от последней к сладкому и глубокому сну»⁴⁴. Глинка пытался спорить, напечатал запальчивую брошюру, где отстаивал достоинства своей работы и подчеркивал, что три издания ее разошлись без остатка. Он искренне не понимал, что произошло. Прочему то, что еще недавно хвалили, теперь отвергают с порога? Но толку от этого было мало. История была напечатана, пылилась на складе, и автор не мог вернуть даже тех денег, что затратил на типографские расходы. Сам Глинка вспоминал об этом: «Одним почерком пера мою Русскую Историю беспощадно разобрали так, что она уснула навеки, осталась ничтожным хламом. К какому ни сунушь книгопродавцу, везде слышу громоздкое: — Не надобно! Мы читали об ней в „Телеграфе“»⁴⁵.

Историографическое время действительно переломилось. На страницах журналов уже начался поход против *Истории* Карамзина; его противники усматривали в работе историографа недостатки как в научном, так и в политическом плане. На что было рассчитывать младшему подмастерью, если критики осмелились трепать имя мэтра? Но и те, кто встал на защиту историографа, видели теперь в работе Глинки жалкие потуги дилетанта и оценивали ее гораздо строже. «История государства Российского» уже фактом своего появления как бы задавала масштаб для оценки исторических сочинений. Один из апологетов Карамзина напечатал в 1820 г. книгу, посвященную разбору критических мнений по адресу историогра-

фа, в которой «прошелся» и по Глинке. Автор видел у Карамзина массу достоинств — глубокую проработку источников, требование достоверности и т. п. — и в качестве отрицательного примера для сравнения приводил *Историю* Глинки. Издатель «Русского вестника» запальчиво принялся возражать на страницах своего журнала, пытаясь доказать, что его труд отличается во мнениях от *Истории* Карамзина только потому, что он, Глинка, работал совершенно самостоятельно и написал свою *Историю* раньше Карамзина: «Я занимался моей историей 15 лет, был знаком с Карамзиным, но никогда не читал и даже не любопытствовал узнать о его положениях... Крайне было бы бесстыдно выпытывать у сочинителя то, на что хотим возражать»⁴⁶. Здесь, конечно, он лукавил. Но суть не в этом. Он просто не понимал, почему ему достается с обеих сторон — и от критиков Карамзина и от его защитников.

Рассчитывать Глинка мог только на вмешательство властей. Причем привередничать не приходилось. Его «Русский Вестник» окончательно пришел в упадок, *История* мертвым грузом лежала на складах, денег и поместий не было, а долгов в избытке, и на руках находилось многочисленное семейство. Он решил ехать в Петербург «хлопотать», хотя надежд было не много. В мемуарах Глинка назвал те подводные камни, которые ему предстояло обойти. Уже давно в глазах властей за ним утвердилась не слишком выгодная репутация: «Со времени издания „Русского вестника“ выдумали, что будто бы я отголосок какого-то невидимого общества». Глинка отрекся от этого и утверждал, что журнал стал выходить потому, что издатель его ознакомился «с духом сословий всего народа русского. Он („Русский вестник“. — Т. В.) не мой, он принадлежит тогдашней године нашего отечества»⁴⁷.

Положение дел стало еще хуже в последние годы царствования Александра I, когда знакомые прямо не советовали Глинке появляться в Петербурге, охваченном настроениями религиозного мистицизма. Кроме крайнего политического консерватизма, мистический период царствования Александра I был ознаменован уклоном в сторону идеи сближения всех направлений в христианстве. Император был увлечен христианством в чистом виде, признавая веру прежде всего как веру и не придавая особого значения догматам, а это ставило в одну плоскость и православие, и католичество, и лютеранство. Александр милостиво принял у себя делегацию квакеров, в России начало действовать Библейское общество, которое готовило выход в свет Священного писания в переводе на современный русский язык. В этих обстоятельствах Глинка должен был казаться слишком легкомысленным, слишком светским и слишком русским.

Однако мистические увлечения императора вызывали беспокойство и неприятие как со стороны света, так и со стороны иерархов православной церкви. В результате этого ощутимого давления министр просвещения А. Н. Голицын был вынужден уйти в отставку, а его место занял Шишков. По части консерватизма новый министр не уступал Голицыну, но зато его религиозным фундаментом было православие без всякого опасного налета «внутреннего христианства». Именно от него Глинка и получил в конце 1824 г. известие, в котором сообщалось, что российская академия «не преминет обратить внимание» на новое издание «Русской истории». В феврале 1825 г. Глинка отправился в Петербург.

По представлению Шишкова Александр I распорядился погасить из государственных средств его долг университетской типографии за печатание *Русской истории* (шесть тысяч рублей) и наградить перстнем. Однако это не решало всех проблем, материальное положение его по-прежнему оставалось шатким и неустроенным. Здесь-то и вмешался в судьбу Глинки Карамзин. Он принял у себя Глинку, с которым был знаком по Москве, тепло и приветливо. Глинка вспоминал: «Николай Михайлович, указывая на мою *Русскую Историю*, лежавшую у стены на столике, сказал: „Сергей Николаевич, вы обогнали меня в истории“. Я отвечал: „В продолжении годов, а не в славе пера вашего“. Конечно, эту сцену можно было бы объяснить как ничего не значащую светскую любезность хозяина по отношению к гостю, если бы не ее продолжение. Как раз в это время до Петербурга дошел «Московский телеграф» с убийственным отзывом Полевого о сочинении Глинки. «Прочитав это в „Телеграфе“, — вспоминал Глинка, — Николай Михайлович прислал ко мне следующую записку: „Иду сейчас к министру просвещения“. И он пошел. На другой день перед кабинетом министра просвещения встретил я Василия Андреевича Жуковского и услышал от него, что Н. М. Карамзин в докладе своем изъяснил, что моя *Русская История*, по изложению происшествий и по нравственной цели, заслуживает быть классической книгой, за что и ходатайствует о предоставлении мне награды». Факт такого ходатайства подтверждается письмами самого Карамзина»⁴⁸.

Что же означало применение термина «классический» к *Русской истории* Глинки? Еще

в самом начале царствования Александра I были законодательно установлены основания для награждения орденом Св. Владимира тех авторов, чьи труды могли быть причислены к разряду «классических»⁴⁹. В реальности дело было не столько в ордене, сколько в официальном присвоении статуса «классического»: такие сочинения направлялись в гимназические и университетские библиотеки, авторы их удостаивались пенсии и т.п. Но ни ордена, ни статуса «классика», ни пенсии Глинка не получил; император отказал, заметив, что автор нигде не служил и не служит. Единственным результатом всех хлопот было место в Московском цензурном комитете; но там Глинка испытал немало превратностей судьбы — вплоть до ареста за слишком либеральное исполнение обязанностей цензора.

Сентиментальностью и открытостью характера Карамзин не отличался, так что нельзя объяснить его поступок только сочувствием запутавшемуся в долгах человеку. Почему же он, будучи несоизмеримо тоньше, умнее и талантливее Глинки, видя все просчеты и недостатки его работы, тем не менее ходатайствовал о присуждении ей статуса «классической»? Прежде всего, он и сам в это время подвергался жесткой критике со стороны Полевого, Каченовского и др., но старался не втягиваться в полемику, себя защищать он не желал; другое дело — защитить от грубых наветов неудачливого собрата. Действовал и другой фактор. Между Историей Карамзина и Историей Глинки была «дистанция огромного размера» в проработанности источников, в глубине осмысления и постижения исторического развития России. Но было и то, что их роднило: убеждение в особенной роли самодержавия, эстетизация истории, модернизация изображаемых исторических событий и неприкрытое морализаторство. Кроме того, оба перешли к истории от литературных занятий и не мыслили исторического сочинения без «художественности»: российская история разворачивалась как пышное театральное представление с величественными сценами, героическими характерами и яркими монологами.

В конечном счете исторические сочинения Карамзина и Глинки, при всем различии их «качества», были порождены потребностью общества осознать себя и свое прошлое и подготовлены XVIII столетием: победной мощью империи, развитием литературного языка, трудами в истории. Творимая в тиши кабинетов немногими любителями, наука истории стремится пробиться в массовое сознание, а оно, в свою очередь, готово и жаждет воспринять плоды науки, но в яркой и драматической форме. И если Карамзин делал шаг навстречу массовому историческому сознанию, представляя в своем лице науку, то Глинка был частицей самой «публики», пытавшейся ухватить и приспособить для своих целей приобретения этой науки.

В сочинениях Глинки, пусть и в не сложившемся окончательно виде, различимы уже многие составляющие той идеологии, которая впоследствии пронизывала и одухотворяла саморефлексию русского общественного сознания. Россия — это особый мир, который понять можно не «умом», а только «сердцем», причем — русским сердцем. Особый путь России определяется внутренним духовным строем национального характера, в основе которого лежит слияние индивидуальностей в единое целое. Благодаря этим коренным свойствам национального характера Россия и обладает несомненными преимуществами перед Западом.

Этот образ национальной идеи, порожденный общественным сознанием, впоследствии пророс в различных течениях общественной мысли. Сильнейшие умы будут пытаться укрепить ее и развить, поколебать или разрушить, но свободным от нее не будет никто. Не обладая большим талантом и глубоким умом, издатель «Русского вестника» чутко уловил веление времени, приступив к созданию исторического мифа, окрашенного в тона романтического национализма.

Примечания

Исследование проведено при поддержке РФФИ.

1. См.: МЕЖОВ В. И. Русская историческая библиография. Т. 1. СПб. 1892, с. 159—168.
2. ANDERSON B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Lnd. 1983; ГЕЛЛНЕР Э. Нации и национализм. М. 1991; SMITH A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford. 1986; HOBBSAWM E. The Invention of Tradition. Cambridge. 1983; GREENFELD L. Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge. 1992; и др.
3. ДОЛГОРУКОВ П. Сказания о роде князей Долгоруких. СПб. 1840 с. 176; КАРАМЗИН Н. М. Бумаги для моих сыновей, когда они вырастут. СПб. 1825, с. 8, 7.
4. ГЛИНКА С. Н. Записки. СПб. 1895, с. 66.

5. Цит. по: Отечественная война и русское общество. Т. 2. М. 1912, с. 196.
6. КАРАМЗИН Н. М. Письма русского путешественника. М. 1980, с. 355.
7. ГЛИНКА С. Н. Ук. соч., с. 194.
8. ВИГЕЛЬ Ф. Ф. Записки. Ч. 3. М. 1891, с. 151.
9. ВОЕЙКОВ А. Ф. Дом сумасшедших. М. 1911, с. 6.
10. АКСАКОВ С. Т. Воспоминание об А. С. Шишкове. В кн.: АКСАКОВ С. Т. Собр. соч. Т. 2. М. 1988, с. 279.
11. Цит. по: ШИЛЬДЕР Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. Т. 2. СПб. 1897, с. 294.
12. РОСТОПЧИН Ф. В. Мысли вслух на красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева. В кн.: Ох, французы! М. 1992, с. 151.
13. ВИГЕЛЬ Ф. Ф. Ук. соч. Ч. 3, с. 26, 64.
14. ВЯЗЕМСКИЙ П. А. Старая записная книжка. В кн.: ВЯЗЕМСКИЙ П. А. Полн. собр. соч. Т. 8. СПб. 1883, с. 255.
15. ГЛИНКА С. Н. Ук. соч., с. 248.
16. Там же, с. 173—174, 191.
17. ВЯЗЕМСКИЙ П. А. С. Н. Глинка. Некролог. — Санкт-Петербургские ведомости, 1847. № 277.
18. ГЛИНКА С. Н. Ук. соч., с. 208—209.
19. КАРАМЗИН Н. М. Пантеон российских авторов. В кн.: КАРАМЗИН Н. М. Избр. соч. Т. 2. Л. 1964, с. 170; Вестник Европы, 1807, № 5, с. 47—54.
20. АКСАКОВ С. Т. Ук. соч., с. 277.
21. Цит. по: ВСЕВОЛОЖСКИЙ-ГЕРНГРОСС В. Н. И. А. Дмитриевский. Берлин. 1923, с. 148.
22. Цит. по: ФЕДОРОВ В. Глинка. Пятидесятилетие литературной деятельности. СПб. 1844, с. 30.
23. Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1862, кн. 3, с. 23—24.
24. ВЯЗЕМСКИЙ П. А. Старая записная книжка, с. 365; его же. С. Н. Глинка. Некролог.
25. Русский вестник, 1808, № 4, с. 38; 1809, № 2, с. 347; 1808, № 1, с. 44.
26. См. например: Догадки и замечания на «Нестора» Шлецера. — Русский вестник, 1811, № 4, 9, 11.
27. См.: ГЛИНКА С. Н. Ук. соч., с. 237.
28. ФЕДОРОВ В. Ук. соч., с. 8.
29. См.: ИЛЬИН-ТОМИЧ А. Кто придумал русского Сцевола? — Родина, 1992, № 6-7.
30. ГЛИНКА С. Н. Ук. соч., с. 303.
31. ГЛИНКА С. Н. Русская история. СПб. 1817. Ч. 1, с. 53.
32. ГЛИНКА С. Н. Русская история. Ч. 7, с. 253.
33. См.: ГЛИНКА С. Н. Русская история. Ч. 1, с. 6—18.
34. ГЛИНКА С. Н. Записки, с. 303, 304.
35. См. ГЛИНКА С. Н. Русская история. Ч. 1, с. XIV.
36. Там же, с. XVI.
37. Там же. Ч. 4, с. 111; ч. 3, с. 43.
38. Там же. Ч. 3, с. 133.
39. Здесь имеется в виду книга Глинки «Вера, верность и слава донцов», в которой он рассказывал об участии Донского казачьего войска в войне 1812 года.
40. АКСАКОВ С. Т. Литературные и театральные воспоминания. В кн.: АКСАКОВ С. Т. Собр. соч. Т. 2. М. 1986, с. 367.
41. ЩЕПКИН М. С. Записки автора. М. 1988, с. 102—103.
42. ВОЕЙКОВ А. Ф. Ук. соч., с. 17.
43. Сын Отечества, 1817, ч. 42, № 47, с. 62; Московский телеграф, 1825, № 1, с. 10, 79.
44. Славянин, 1828, № 30, с. 150.
45. ГЛИНКА С. Н. Записки, с. 329.
46. РУССОВ С. В. Обзорение критики Ходаковского на историю Российского государства, соч. Н. М. Карамзина. СПб. 1820; ГЛИНКА С. Н. Ответ на укоризны, делаемые мне в том, что История моя во многом несогласна с Историей Н. М. Карамзина. — Русский вестник, 1820, кн. 4, с. 87—88.
47. ГЛИНКА С. Н. Записки, с. 333.
48. Там же, с. 336; Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб. 1866, с. 392; Российский архив. Вып. 2—3. М. 1992, с. 39—40.
49. См.: Полное собрание законов Российской империи. Изд. 3-е. № 20074.